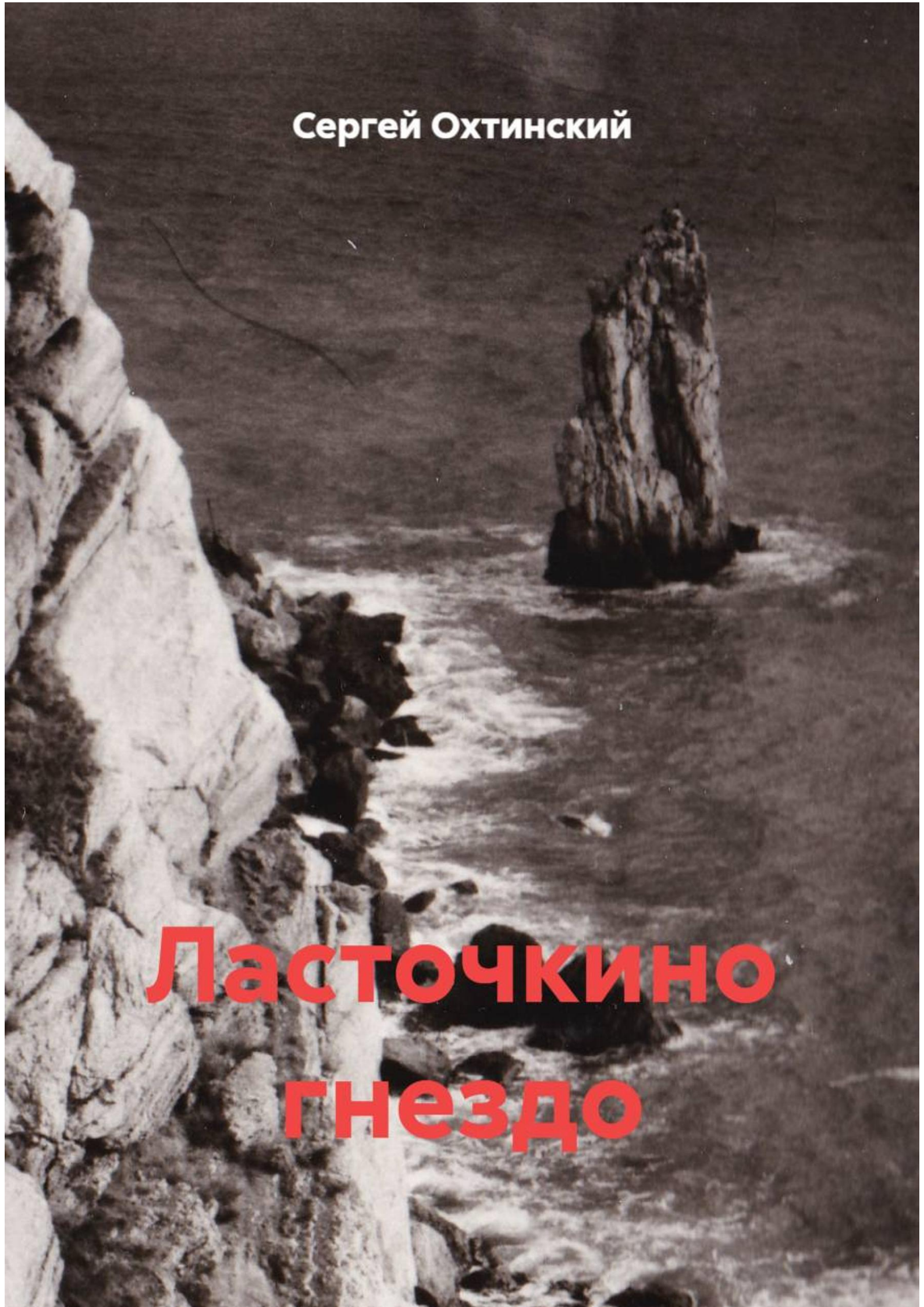


A black and white photograph of a rugged coastline. On the left, a steep, light-colored rock cliff rises from the water. In the middle ground, a tall, narrow sea stack stands isolated in the dark sea. The foreground shows the base of the cliff and some smaller rocks in the water.

Сергей Охтинский

**Ласточкино
гнездо**

Сергей Охтинский

Ласточкино гнездо

«Автор»

2026

Охтинский С.

Ласточкино гнездо / С. Охтинский — «Автор», 2026

Это история о том, как два лётчика, выполняя секретное задание над Крымом, проходят путь от утреннего соловья до знойного Сиваша. От Ласточкиного гнезда до горящего угольного склада. От красоты, которая захватывает дух, до абсурда, который заставляет смеяться. Повесть, написанная с любовью к авиации, тонким юмором и настоящей человеческой теплотой, покажет вам Крым таким, каким его не увидишь с туристического автобуса. Здесь есть всё: адреналин, опасность, дружба, ирония и неожиданная развязка, которая превращает серьёзное приключение в забавную легенду. Для тех, кто скучает по небу и верит, что даже в самой сложной ситуации можно найти повод для улыбки.

© Охтинский С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8

Сергей Охтинский

Ласточкино гнездо

Глава 1

Знаете, есть у летчиков одна негласная примета: если на предварительном инструктаже кто-то ляпнет фразу «ну, всё, штатное задание», — жди беды. Формально задача есть задача, но в авиации, как в хорошем детективе, «спокойно» означает только одно — ты чего-то не досмотрел. И вот, сидя в прохладном полумраке класса предполетной подготовки, я смотрел на карту, разложенную передо мной, и чувствовал, как где-то под ложечкой начинает зарождаться тот самый предательский холодок. Называется он по-разному: у кого-то — интуиция, у меня — старый язвенный гастрит, вылеченный еще в училище, но чуйка — она и есть чуйка.

Мы готовились к вылету в Крым. И, боже мой, если вы никогда не видели Крым с высоты птичьего полета, особенно на рассвете, когда солнце только-только начинает золотить гребни волн, вы многое потеряли. Для нас, пилотов, этот полуостров — не просто точка на карте. Это эталон контрастов, наглядное пособие по географии и аттракцион для вестибулярного аппарата одновременно.

Представьте себе: стартуешь ты, скажем, с аэродрома в Запорожье. Внизу — бескрайнее желто-зеленое одеяло полей, скучное, как трехдневный отчет о летной работе. Монотонность такая, что даже автопилот начинает задумчиво помаргивать лампочками. Но как только пересекаешь условную границу, переваливаешь за Перекоп, — мир переворачивается. Начинается тот самый миг, когда понимаешь, почему Остап Бендер, будучи человеком сугубо сухопутным, так рвался в Крым. Не ради же шахмат, в самом деле. Он рвался именно сюда — к этому «блюдечку с голубой каёмочкой», куда природа, словно скупой художник, высыпала все краски из палитры и, довольная, отошла в сторону.

В классе стоял тот особенный гул, что бывает только перед большим вылетом. Гул этот не слуховой, а скорее вибрационный — от смеха, шарканья ботинок, шелеста плотной глянцевой бумаги карт и напряженного сопения. Кто-то, как я, склонялся над заветными листами, кто-то уже вовсю орудовал резиновым клеем, склеивая планшеты в длинные многометровые полотна. Это вам не погулять по бульвару: чтобы охватить весь наш маршрут от самой Турции до Керченского пролива, нужно собрать воедино листов пять-шесть топографической мелочевки. Работа эта, скажу я вам, ювелирная. Один неровный сгиб — и при ветре в сорок метров секунду карта может сложиться в гармошку или, того хуже, оторваться и улететь в форточку. Видели мы такие «самолетики» из карт.

— Мужики, — пробасил Шмель (мы его так прозвали за характерный гнусавый голос, хотя под кабиной он был тише воды), — кто знает, есть ли там сейчас сезон медуз? Я в прошлом году в Алуште ногу обжег, до сих пор вспоминаю с умилением.

— Ты лучше вспомни, как мы над Феодосией проходили, — хмыкнул его напарник Сыч, мужчина с лысиной, заставлявшей его шлем сидеть криво. — Там же облака такие, что подумаешь — Европа кончилась, начинаются острова сокровищ. А по факту — курортники в трусах загорают и на тебя кулаками грозят, что дымом испортил им пленочный фотоаппарат «Зенит».

Пока ребята обменивались байками, мы скрупулёзно, как заправские бухгалтеры перед налоговой проверкой, высчитывали курсы, расход топлива, контрольные точки и, самое страшное, — ветер. Ветром в нашей работе можно либо любоваться, глядя на облака, либо бешено ненавидеть, пересчитывая остатки керосина в баках. Сегодня задача стояла особенная: «творческая» и «интересная», как любил выражаться наш начальник штаба. Мы должны были про-

верить боевую готовность войск ПВО полуострова. Это означало, что мы идем не как «свои», а как «чужие». Со стороны Турции. Имитация нападения, мать её.

Обычный полет — это предсказуемый экспресс. Взлет, набор, эшелон, разговор с диспетчером, снижение. Скука смертная. А это — «Ласточкино гнездо» для сумасшедших. Предельно малая высота — это когда высотомер показывает цифры, близкие к нулю, и ты видишь не просто линию горизонта, а цветочки на клумбах чьей-то дачи. Когда пролетаешь над лесом, кажется, что еще чуть-чуть, и пропеллер скосит макушки сосен, словно газонокосилка траву.

И самое пикантное — работа с отключенными средствами госопознавания. В эфире мы — «невидимки». Слышим всех, а нас — никто. «Свой-чужой» молчит. Ощущение, честно говоря, странное. Как будто вы идете ночью по темной улице, сняв с себя всю одежду, и кричите: «А ну, попробуйте меня узнать!». Безрассудно и глупо, но адреналин бьет в голову с такой силой, что хочется еще.

Помню, как в первый раз нас возили на экскурсию к ракетчикам. Мы тогда были молодыми и зелеными, как яблоки в саду. Сидим в бункере, смотрим на их локаторы, а они нам показывают на экране точку. Точка движется. И говорят: «Вот, это теплоход «Грузия», идет в Одессу, вон, слева — рыболовный сейнер, а справа — это ваша пара, которая должна была пройти незаметно десять минут назад. Видите? У вас еще истребители на форсаже хвосты подпаливают, как спички. Вы у нас, ребята, как на ладони».

После того визита отношение к «играм в жмурки» у меня кардинально изменилось. Стало казаться, что даже когда я вырубаю транспондер и прижимаю машину к самой воде, на командном пункте какой-нибудь капитан с чашкой остывшего кофе уже наводит на меня ракету, с интересом поглядывая на секундомер. И нет у меня гарантии, что кто-то там, в штабе, не забыл отменить учения или не перепутал кабинет, и вместо учебного сигнала не махнет рукой боевому расчету.

Расчеты были сделаны, карты склеены и испещрены карандашными линиями — синими для маршрута, красными для зон поражения. Мы, наша четверка, сидели за одним столом и шумно обсуждали детали. Мы — пара. Я — ведущий, и мой напарник, капитан Морозов, по прозвищу «Заморозок» (не потому, что мерзлявый, а потому что был в Сибири и любил рассказывать, как сажал МиГи на бетон, покрытый ледяной коркой). Нам предстояло красивое пике — пройти над самой водой у Севастополя, чтобы отработать уход на южный берег. Потом мы расходились: основная группа валила на Джанкой, к степям, а мы должны были «подсветить» юг, прочесать побережье от Ялты до самой Керчи.

В голове, в предвкушении этого полета, уже рисовались картины, которые заставляли сердце биться чаще. Это непередаваемое ощущение скорости, когда на высоте двадцать-тридцать метров мир проносится мимо с такой быстротой, что каждая секунда напоминает ускоренный фильм. Когда волны набегают на берег, и ты видишь их структуру, пенные гребешки. Когда солнце отражается от белых стен «Ласточкиного гнезда» так ярко, что кабина на секунду превращается в прожектор. Когда, проходя над ялтинским пляжем, можно различить не просто «точки», а лица отдыхающих, которые либо восторженно машут тебе вслед, либо яростно тычут пальцем в небо, вспоминая все известные им авиационные термины.

Крым с борта самолета — это как женщина с удивительной внешностью. Она может быть суровой и неприступной, когда смотришь на обрывистые скалы Ай-Петри, похожие на окаменевших великанов. Она может быть нежной и ласковой, когда внизу расстилаются золотые пляжи. И она может быть загадочной, как хозяйка Медной горы, когда над степями Джанкоя дрожит марево, превращая обычную пыль в призрачные миражи.

Часы пробили (точнее, на стене в углу что-то слабо щелкнуло, обозначая окончание рабочего дня). Муравейник затих. Гул голосов стих, сменившись усталым, но удовлетворенным ворчанием. Кто-то, позвякивая ключами от машины, уже строил планы на вечер, кто-то с надеждой заглядывал в столовую, приносясь к запаху котлет.

Я же сложил карту в планшет, чувствуя, как пальцы слегка дрожат. Дрожь эта была не от страха. Это был ритм, предвкушение, мелодия завтрашнего рассвета. Я вышел из класса, и уже на пороге меня догнал Заморозок.

— Слышь, командир, — сказал он, поправляя ремень. — Как думаешь, в этот раз на локаторах нас хотя бы на пять секунд потеряют?

Я хмыкнул, взглянул на вечернее небо, начинающее затягиваться легкой дымкой.

— Увидим, Заморозок, — ответил я. — Главное, чтобы не на пять секунд, а навсегда. В том смысле, что если уж нас потеряют, то пусть забудут так, чтобы не найти. А то «найти» они всегда успеют.

Заморозок засмеялся, хлопнул меня по плечу и ушел в сторону общежития. А я остался стоять на крыльце, вдыхая воздух, который пах горькой полыньей, бензином и неизвестностью. Завтра был день, который обещал стать либо одним из самых красивых, либо самым нервным днем в моей жизни. И я знал, что готов заплатить эту цену за право снова увидеть то самое «блюде с голубой каёмочкой», но с высоты птичьего полета и на грани возможностей моей машины.

Глава 2

В четыре утра Крым пахнет не морем. Звучит странно, правда? Но это так. В предрассветный час, пока солнце еще только подкрашивает горизонт акварельными разводами, ветер дует с суши. И в этом ветре — остывшая за ночь земля, влажная пыль придорожных акаций и далекая, почти неуловимая нота горькой полыни. Море пока спит, отдает тепло, накопленное за день, и воздух над сушей плотнее, насыщеннее. Мы, летчики, чувствуем это кожей еще до того, как открываем глаза.

Я проснулся за двадцать минут до будильника. Профессиональный рефлекс — хуже любого хронического недосыпа. Мозг, получив команду «завтра вылет», начинает тикать, как взведенный механизм, и в четыре утра он уже не спит, он работает: прокручивает схемы, перебирает частоты, мысленно касается гашеток и тумблеров. Я лежал на жесткой кровати в комнате временного общежития, смотрел в потолок и считал в уме взлетный вес. Двадцать три тонны керосина, плюс бомбовая нагрузка, минус запас на непредвиденный уход... Цифры щелкали в голове, как костяшки старых счет.

И тут — тишина. Настоящая, первобытная, какая бывает только перед самым рассветом. А в ней — голос.

Соловей.

Он заливался в парке напротив с такой наглой самоотдачей, будто не было никакой холодной войны, никаких учений, никакого ядерного щита над головой. Будто мир состоял только из куста сирени и его, соловья, оперного соло. Я усмехнулся в темноту. Вот ведь парадокс: мы, люди, придумываем радары, системы наведения, сверхзвуковые ракеты, а природа по-прежнему побеждает нас самым простым оружием — красотой. Вложишь в уши беруши — не услышишь сигнал тревоги. А соловья не заткнешь. И не хочется. Я слушал его рулады, переливающиеся, текущие, и думал о том, что через пару часов мой двигатель будет реветь так, что у этого соловья уши завянут (если они у них, конечно, есть). Какая нелепая и прекрасная жестокость.

Ровно в 4:15 в дверь постучали. Три коротких, два длинных — наш условный «код» с Заморозком, хотя никакого смысла в нем не было, кроме традиции.

— Жив? — раздался сонный, но бодрый голос Михаила.

— Если б подох, уже б не встал, — ответил я, застегивая ремень. — Заходи, не стой как памятник.

Морозов ввалился в комнату, пахнувший дешевым одеколоном «Шипр», который он мазал, по его словам, «для боевого настроения». В руках у него был пластиковый стаканчик с остывшим кофе и какой-то бутерброд, отдаленно напоминавший сэндвич.

— Слушай, — сказал он, жуя на ходу, — я вчера вечером еще раз пересчитал топливо на участке Керчь. Если подловим попутный на траверзе мыса Чауда, то у нас остается резерв аж целых... — он поднес стакан к губам, — ...триста кило. Впритык.

— Не впритык, а с запасом на полторы минуты форсажа, — поправил я его. — Будет нужно — включим. Не будет — сэкономим. У нас не «кукурузник», Заморозок, у нас оружие возмездия, а не газонокосилка. Топливо жрем как драконы.

Мишка хмыкнул, допил кофе одним глотком и выбросил стакан в окно. Надо сказать, привычка у него была паршивая, но в этот раз я промолчал. В конце концов, сегодня нам предстояло быть засранцами для всего южного побережья, и мусорить мы будем не бумажками, а форсажными факелами.

Автобус ждал нас у ворот. Старый, дребезжащий «ЛАЗ», обшитый изнутри каким-то дерматином, который за много лет впитал в себя запах керосина, пота и авиационного юмора. Когда мы забрались внутрь, салон уже гудел, как улей перед роением. Весь наш «цвет» — пилоты, штурманы, пара техников — сидели на своих местах, кто-то дремал, кто-то с жаром

обсуждал вчерашний футбол, а кто-то, как наш старый подполковник Козырев, уже травил анекдоты, поправляя съехавшие на нос очки.

Я сел на свободное место у окна, Мишка плюхнулся рядом, и автобус, взревев дизелем, тронулся. Двадцать минут до аэродрома. Двадцать минут, чтобы переварить утренний кофе и настроиться на нужную волну.

За окном поплыли сонные деревеньки. Дома с белеными стенами и черепичными крышами, еще спящие, похожие на белых котов, свернувшихся клубками среди зелени. А дальше началось то, что всегда вышибало у меня дух, даже спустя сотни полетов.

Виноградники. Они шли по обе стороны дороги бесконечными рядами, абсолютно ровными, будто кто-то гигантской линейкой расчертил землю по клеточкам. И в сочетании с яблоневыми садами — более дикими, не такими геометричными — это выглядело как шахматная доска, которую рисовал безумный гений. Зеленые квадраты винограда, набирающего сок под жарким солнцем, перемежались с розовыми и белыми пятнами яблоневых крон. Красота неброская, правильная, как штурманский расчет. Я смотрел на это и чувствовал, как где-то внутри разливается тепло. Там, внизу, живут люди. Они поливают, ухаживают, собирают урожай. А мы, птицы войны, пролетаем над ними, гремя железом и сжигая тонны солярки. Иронично, не правда ли?

— Слышь, Колян! — крикнул кто-то с переднего сиденья. — Ты вчера карту проверял? У нас там на южном берегу одно место подозрительное.

— Какое? — отозвался я, выныривая из созерцания.

— Да пляж в Алуште. Я еще подумал: если б я был шпионом, я б туда и высадился. Красиво, удобно, купальники всякие. Разведка воробыным шагом.

Автобус грохнул хохота. Кто-то добавил про «жену-шпионку», кто-то про «прикрытие в виде газировки». Травили анекдоты один за другим. Больше всего запомнился тот, который передавали из заднего ряда — голосом пожилого майора Степанова, который всегда смотрел на мир с философской грустью.

— В общем, садится самолет. Жестко так, с козлом, — начал он, важно откашлявшись. — Дым, грохот, шасси сложились, крылья подогнулись. Экипаж, живой, вылезает из-под обломков, бегают кругами. Командир хватается за голову: «Господи, я идиот! Не ту глиссаду поймал, не ту скорость держал! Сейчас меня расстреляют!». Штурман тут же подхватывает: «Нет, это я кретин! Я планшет не так свернул, высоту перепутал, теперь нас всех в батальон штрафников!». Бортинженер весь в слезах: «Братцы, я двигатель недожалел, весь режим просрал, один я виноват!». А в это время второй пилот, который все это время сидел в стороне и отряхивал свой новенький реглан, вдруг поднимает голову и говорит: «Ну вы, сволочи, даете! Такую машину угробить! Меня чуть не убили! А ведь я хотел домой, жена ждет!».

Автобус зашелся в хохоте. Мишка рядом со мной схватился за живот.

— Жесткий мужик, — прокомментировал он, отсмеявшись. — Сидит в разбитом самолете и думает не о том, как выжить, а о том, что его командир — чужак на букву «м».

— В этом весь наш брат, — усмехнулся я. — У нас не бывает «я испугался». Бывает «вы все мне жизнь испортили!».

Впереди, за поворотом, блеснул металл. Стоянка. Наши «ласточки» — белые, стремительные, с хищными острыми носами — стояли в ряд, как стая альбатросов, застывших перед долгим перелетом в теплые края. Техники, маленькие фигурки в синих комбинезонах, уже сустились вокруг них, как муравьи вокруг гигантских сахарных голов. Кто-то открыл заливки, кто-то возился со створками шасси. От машин тянуло утренней прохладой и авиационным керосином — тем самым запахом, который для нормального человека — вонь, а для нас — запах свободы и ответственности одновременно.

Мы вошли в домик предполетной подготовки. Там уже накрывали завтрак. Каша, яйца, чай — все быстро, по-армейски, без церемоний. Я толкнул Мишку локтем, заметив, что он пытается утянуть две порции масла.

— Жрать будешь в воздухе — резинку жалеть будешь, — прошипел я. — Нам еще с перегрузками работать.

Мишка недовольно, но послушно отодвинул вторую порцию. Работа есть работа.

Завтрак занял ровно восемь минут. Дальше — тренаж. Это не тот компьютерный симулятор, по которому играют дети. Это адская машина, которая пытается тебя убить, давая тебе шанс научиться выживать. Мы с Мишкой отрабатывали отказ гидравлики, заклинивание одного из элеронов и, самое главное, — уход на второй круг при полной загрузке. Все эти движения, переключения, крики в переговорное устройство должны быть доведены до автоматизма. Там нет времени думать. Есть только рефлекс. Ошибка на доли секунды — и ты не просто ломаешь самолет, а становишься автором сценария для очередного армейского анекдота. Только в этот раз уже не смешного.

Закончив на тренажере, мы перешли к финальной части — наземной проверке двигателей. Это называется «прогазовка». Двигатель выводят на околомаксимальные обороты на пару минут. Звук, который он издает — это не рев. Это рык. Рык разбуженного дракона. Когда газует одна машина, это еще можно пережить. Но сегодня нас было двадцать. Двадцать драконов, ревущих одновременно.

Выходим на стоянку. Солнце уже поднялось, но оно еще не жгло, а лишь ласково подсвечивало хвостовые оперения. Техники показывают «пальцы вверх» — готовы. Я сажусь в кресло, застегиваю ремни. Рядом — Мишка, уже в шлеме, проверяет связь.

Я даю команду.

Двадцать двигателей взрывают утреннюю тишину. Гул стоит такой, что у меня в груди начинает резонировать, зубы ломит. Облака сизого дыма, смешанного с гарью, заволакивают стоянку. Кажется, что мы не на аэродроме, а в аду, и где-то там, наверху, нас уже ждут с раскрытыми объятиями. Через две минуты — все стихает. Резко, как обрезанная струна. И в наступившей звенящей тишине, где воздух еще дрожит от перенесенного потрясения, я слышу — снова. Соловья. Или мне кажется. Но он поет, проклятый, такой же наглый и самоуверенный, как и мы.

Мы идем в штаб на последнее уточнение. Старший группы, полковник, разложил перед нами карту погоды и проговорил коридор выхода. Солнце поднималось выше, окрашивая Крым в золото и зелень. Напряжение росло не от страха, а от предвкушения. Через полчаса мы будем там, на высоте тридцати метров над гребнями волн.

Полковник поднялся, поправил фуражку.

— Всем понятно? — спросил он, обводя нас глазами.

— Так точно, — ответил я за всех.

Он кивнул, вышел на крыльцо, поднял ракетницу. Мы смотрели на его руку.

Зеленая ракета взвилась в небо, оставляя за собой хвост искр. Она ушла высоко, в ту самую голубизну, где через пару часов будет уже не слышно соловьев, а только свист ветра и стук моего сердца.

Мы встали одновременно, как один организм. Учения начались. И впереди был день, который обещал стать либо легендой, либо головной болью для моего гастрита.

— Погнали, Заморозок, — сказал я Мишке. — Видишь ту голубую каемочку? Мы ее сегодня поцелуем. Буквально.

Мишка ухмыльнулся в усы, подхватил планшет, и мы вышли из штаба. Воздух уже прогревался, пахло керосином, морем и опасностью. А впереди, над головой, кружили чайки. Они кричали так, будто знали что-то такое, чего не знали мы. Или наоборот — не знали, чего боя-

лись мы. Наверное, это и есть счастье — смотреть на красоту и одновременно быть готовым к самому страшному.